

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
М15

Sophie Mackintosh
WATER CURE

Copyright © Sophie Mackintosh, 2018

Перевод с английского *Наталии Флейшман*

Художественное оформление *Петра Петрова*

Макинтош, Софи.

М15 Исцеление водой / Софи Макинтош ; [перевод с английского Н. Флейшман]. — Москва : Эксмо, 2019. — 320 с.

ISBN 978-5-04-103679-9

Три сестры на изолированном острове. Их отец Кинг огородил колючей проволокой для них и жены территорию, поставил буйки, дав четкий сигнал: «Не входить». Здесь женщины защищены от хаоса и насилия, идущего от мужчин с большой земли. Здесь женщины должны лечиться водой, чтобы обезопасить себя от токсинов разлагающегося мира. Когда Кинг внезапно исчезает, на остров прибывают двое мужчин и мальчик. Встают ли женщины против них?

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© Флейшман Н., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-103679-9

Часть первая
ОТЕЦ

Грейс, Лайя, Скай

Был у нас отец — и больше нет его. Даже не успеваем заметить, как его не стало.

Хотя неверно было бы сказать, что мы его как-то не замечаем. Просто в тот день, когда он навсегда уходит, мы чересчур поглощены собой. Жара нынче стоит не по сезону. И мы, как всегда, между собой по мелочи грыземся. Наконец мама выходит на террасу и, резко взмахнув ладонью на фоне неба, кладет конец нашим пререканиям. Еще какое-то время мы просто лежим, прикрыв лица серыми полотенцами и стараясь не закричать, а потому ни одна из нас, женщин, не может ни запечатлеть воочию его смерть, ни сопроводить его.

Возможно, мы сами же и вынудили его уйти: кажется, будто наша общая энергия не налипла на ткань, как он планировал, а обратилась в смог, окутавший и гостиную, и кухню, и пляж. Именно там, на пляже, мы последний раз и видели его. Он положил на песок полотенце и растянулся на нем вдоль воды. Так и лежал там неподвижно, даже не смахивая капли пота, что выступили у него над верхней губой и на непокрытой голове.

Поиски начинаются уже вечером, когда он так и не появился к ужину. Нервничая, мама неловким

движением смахивает со стола тарелки и еду, и мы, все бросив, отправляемся обследовать дом с его бесконечным множеством комнат. Отца нет ни в кухне, где он мог бы замачивать рыбу в бочке с рассолом, ни рядом с домом, где он мог бы извлекать на свет сморщенные картофельные клубни, рассматривая ссохшуюся почву. Его нет ни на террасе наверху дома, откуда бы он с высоты третьего этажа вглядывался в неподвижную гладь бассейна, и, разумеется, нет и в самом бассейне, поскольку он всегда издает там такие бурные всплески воды. Нет его ни в комнате отдыха, ни в танцевальном зале — пианино стоит явно нетронутым, а бархатные шторы на окнах тяжело свисают из-за пыли.

Мы еще раз поднимаемся по лестнице, что, словно спинной хребет, проходит по самой середине здания, и проверяем каждая свою спальню, включая и ванную, хотя прекрасно знаем, что его там нет. Затем, после разрозненных поисков, мы собираемся все вместе и идем обшаривать сад, даже прощупываем длинными ветками зеленую муть тамошнего пруда. В конце концов мы оказываемся на пляже — и уже тут внезапно замечаем, что пропал не только сам отец, но и одна из наших лодок. В том месте, где ее спускали на воду, по песку тянется длинная борозда.

На мгновение мы успокаиваем себя мыслью, что отец просто отправился за продуктами, однако тут же вспоминаем, что на нем не было белого защитного костюма и не устраивалось никаких, обычных по такому случаю, проводов. В недоумении мы вглядываемся в далекое округлое зарево над самым го-

ризонтом, где воздух от ядовитости своей светится оттенком спелого персика. И мама в отчаянии бухается на колени.

У нашего отца было массивное и неуклюжее тело. Когда он садился, то его купальные шорты всякий раз съезжали кверху, обнажая яркую белизну обычно скрытых от глаз бедер. Если бы его кто-то убил, его тело тащили бы как мешок с мясом. Для этого явно потребовался кто-то куда более сильный, нежели мы.

Образ отца, оставшийся у нас в памяти, быстро превращается в отверстую пустоту, в которую теперь мы можем складывать всю печаль и скорбь, и в некотором смысле для нас это какой-никакой шаг вперед.

Грейс

Спрашиваю у матери, не замечала ли она у тебя какого-либо недомогания. Какого-то намека на то, что твое тело уже готово сдать.

— Нет, твой отец был в наилучшей форме. —
Мрачно. — Сама о том прекрасно знаешь.

И все же твое тело было не совсем в полном порядке. И естественно, я улавливала это там, где не могла видеть она. За день до того, как тебя не стало, я заметила за тобой небольшой кашель и сделала отвар с медом: заварила для тебя крапивы, разросшейся в дальнем конце сада, куда мы сбрасывали всякий мусор, оставляя его там гнить. После того как на самом солнцепеке я частично повырвала ее из

Софи Макинтош

земли, руки у меня сплошь покрылись волдырями. Отвар ты выпил прямо из кастрюльки. Видно было, как под металлической емкостью ходит туда-сюда кадык.

Мы с тобой сидели в кухне, сдвинув рядом два стула. В глазах у тебя стояли слезы. Ко мне ты тогда даже не прикоснулся. На разделочном столе я увидела три сардины со вспоротым брюхом.

— Ты умираешь? — спросила я у тебя.

— Нет, — ответил ты, — во многих отношениях мне никогда еще не было так хорошо.

Лайя

Подтверждение своим подозрениям мы получаем в виде выброшенного водой отцовского ботинка с пятном крови. Находит его мама, однако мы его не засыпаем солью и не сжигаем, как поступили бы с любым другим, принесенным волнами, опасным мусором.

— Как ты можешь! Это ж твой отец! — кричит мать, стоит мне высказать такое предложение.

Так что вместо этого мы надеваем резиновые перчатки и, почтительно коснувшись кровавого пятна на его обуви, погребам ботинок в лесу. Напоследок в полученную могильную ямку кидаем защитные перчатки, и мать небольшой лопаткой все это засыпает. Я вовсю плачу на плече у Грейс, пока сквозь промокшую ткань платья не становится видна ее кожа, однако сестра лишь глядит сухими глазами на полог листвы у нас над головой.

— Можешь ты хоть раз-то что-нибудь почувствовать? — шепчу я ей уже потом, ночью, забравшись к ней в постель без разрешения.

— Надеюсь, ночью ты сдохнешь, — шипит она в ответ.

Грейс частенько мной пренебрегает. Я же не имею такой привилегии брезговать сестрой, даже при том, что изо рта у нее плохо пахнет, а на лодыжках вечно налипают какая-то грязь. Я счастлива любому общению, которого мне только удастся от нее снискать. Порой, когда мне делается совсем невмоготу, я даже прибираю волосы с ее расчески и прячу потом у себя под подушкой.

Сестре не на шутку полюбилась пара черных лакированных сандалий, которые еще несколько лет назад оставила после себя одна из женщин. Время от времени Грейс застегивает сандалии и носит, несмотря на то что они ей сильно велики и шлепают при каждом шаге, а кожа на них растрескалась и облезает.

Как-то утром, надев их в очередной раз, Грейс бухается посреди сада ничком прямо в густую росу. Когда мы со Скай ее находим и вдвоем переворачиваем лицом вверх, Грейс где-то с полминуты, а то и больше лежит неподвижно, уставясь в одну точку. Потом, едва придя в себя, она начинает дергать на себе волосы, и мы сразу принимаем это за какую-то игру, уже готовые включиться. Но тут же делается ясно, что это какой-то сигнал, от которого я даже не знаю, чего ждать. В итоге мы просто усаживаемся

втроем на лужайке с порядком переросшей травой и ждем, когда же нас найдет мать.

Поскольку скорбь для нас нечто совсем новое, то маму охватывает тревога. Для этого неизвестного доселе потрясения у нее нет уже готовых лечебных методик. Впрочем, наша мать изобретательная женщина, которая всю свою жизнь занималась тем, что усердно чинила чьи-то поломанные души. Более того, она всегда была человеком из отцовского лагеря — тем, кто увлеченно подхватывал его теории, оттачивая их на практике до совершенства.

Наконец ее бледные руки опускаются нам на макушки. Очень скоро мать находит решение проблемы.

Целую неделю мы со Скай спим в одной постели с Грейс. Целую неделю мать три-четыре раза в день кладет нам каждой на язык по маленькой голубой таблеточке снотворного. Время от времени шлепками и встряхиванием она ненадолго вырывает нас из сна, и мы, как в тумане, пьем воду из стаканов, выставленных на прикроватной тумбочке, едим крекеры, которые мама намазывает нам арахисовым маслом, и в буквальном смысле ползем в ванную, поскольку уже к третьему дню ноги нас совсем не держат. Тяжелые плотные шторы на окнах все время задернуты, чтобы внутрь не попадал солнечный свет и в комнате не повышалась температура.

— Ну, что вы чувствуете? — спрашивается у нас мать в те редкие промежутки, когда мы всплываем из бессознательного состояния. — Хорошо вам? Плохо? О да, представляю! Мне бы так все это переспать! Повезло вам, девочки.

Она постоянно следит за нашим дыханием, прощупывает у каждой пульс. Когда у Скай случается однажды рвота, мама уже тут как тут, бережно вытирает большим и указательным пальцами ей губы. Потом относит Скай в ванную, чтобы помыть, и льющийся там душ смутно напоминает нам с Грейс отдаленный шторм.

На протяжении всей этой долгой дремы мои сны — точно коробочки, наполненные более мелкими коробочками с маленькими потайными люками. Вот мне кажется, будто я всюю бодрствую — и вдруг руки у меня отваливаются, или небо над головой пульсирует ярко-зеленым, или я на берегу погружаю пальцы в песок, а море встает вертикально, разваливаясь передо мной огромными пластами.

Телу требуется еще несколько дней, чтобы наконец я могла почувствовать себя нормально. Разве что когда стою, колени все так же подгибаются. А еще я во сне искусала себе язык, так что теперь он распух и с трудом шевелится во рту, точно гусеница по пересохшей земле.

Грейс, Лайя, Скай

Очухавшись после недели полузабытья, мы обнаруживаем вокруг себя исписанные матерью листочки бумаги, похожие на «напоминалки». Они пришпилены к стенам спальни, рассованы по ящикам, вложены нам в одежду. На бумажках написано: «*Никакой больше любви!*» Ее боль придает этим словам суровость предсказания. В нас же эти записки вселяют

Софи Макинтош

изрядную тревогу. Мы спрашиваем о них у матери — и она выдает нам несколько иной вариант:

— Любите лишь своих сестер!

Ну ладно, решаем мы. Для нас это вообще проще простого!

— А также свою мать, — добавляет она. — Вы и меня тоже должны любить. На это я имею право.

Да пожалуйста, соглашаемся мы. Уж это точно не проблема!

Грейс

Иногда мы молимся в танцевальном зале, иногда — в спальне у матери. Зависит от того, нужна ли напыщенность. В зале мать поднимается на сцену, воздевая руки к потолку, и звуки ее голоса эхом отражаются от гладкого паркета. В спальне все намного проще, тише и печальнее. Там мы сидим очень тесно друг к другу, держась за руки, а потому весьма размыто ощущаем, где заканчивается свое *я* и уже начинается *сестра*.

— Помолимся за женщин нашей крови, — в один голос произносим мы.

Это так замечательно, когда желаешь своим сестрам только лучшего. Я даже чувствую, как сами они сосредотачиваются на мысли о нашей взаимной любви как на некой важной части информации, что необходимо глубоко запомнить.

— Иной раз, — говорит нам порой мать, когда пытается быть любящей и доброй, — мне вас, девочки, бывает и не различить.

Иногда нам это даже нравится, а иногда — ни-сколько.

Когда мы первый раз после твоей смерти собираемся в спальне у мамы помолиться, я высказываю мысль снова снять со стены оковы. Когда я об этом заикаюсь, никто со мной не соглашается, никто даже и не кивнет. Но у всех глаза сами собою поднимаются к тому месту, где они подвешены на стене. Пять крюков, пять железных цепей с оковами. Пять имен над крюками, хотя на самих оковах — только четыре имени.

— Раз в год, Грейс, — напоминает мать. — Хотя бы потому, что результат тебе явно не понравится.

Лайя искоса взглядывает на меня. Именно ей в последний раз достались оковы без имени — это означало, что в этом году особой любви никто к ней не питал. «Не повезло», — сказали мы ей тогда. Держалась она стоически. Мы все дружно обняли ее, говоря, что на самом деле мы, конечно же, все равно ее любим и, естественно, будем любить и дальше, — однако мы знали, что ничего подобного не будет, что ей придется хорошенько покрутиться ради нашего расположения, что так просто это не придет. И что мы уже не сможем так вот вольно и невзначай к ней прикоснуться. Ты, как обычно, выбрал меня — еще на один год «приковав» меня к себе. Ты сделал это нарочно. Все было сплошное надувательство.

— Во мне сейчас все умерло, — говорю я.

— Скорбь — это тоже любовь, — отвечает мать.

Я жду, что она рассердится, однако вместо этого в ней появляется какая-то тревога. Можно сказать, в чистейшем ее виде.

Вот тебе и любовь к одним лишь сестрам.